

Tatiana Markowa

Трансформации психологизма в русской прозе XX века

Polilog. Studia Neofilologiczne nr 2, 243-250

2012

Artykuł został opracowany do udostępnienia w internecie przez Muzeum Historii Polski w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego i kulturalnego. Artykuł jest umieszczony w kolekcji cyfrowej bazhum.muzhp.pl, gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych i społecznych.

Tekst jest udostępniony do wykorzystania w ramach dozwolonego użytku.

Tatiana Markowa

Czelabiński Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny
Czelabińsk, Rosja

ТРАНСФОРМАЦИИ ПСИХОЛОГИЗМА В РУССКОЙ ПРОЗЕ XX ВЕКА

Ключевые слова: *психологизм, психологический анализ, современная проза, формы изображения человека, диалог точек зрения*

В литературоведении принято различать понятия «психологизм» и «психологический анализ». Психологизм – это родовый признак искусства слова, главным предметом которого является человек. На определенном этапе развития литературы психологизм становится сознательным и определяющим эстетическим принципом. Психологический анализ – это утонченная форма погружения в психологию личности, одно из существеннейших качеств подлинного художественного таланта. Оба теоретических понятия неразрывно связаны с проблемой характера.

В свое время М. Бахтин выделил два магистральных направления в построении характера литературного героя: классический и романтический¹. Классический характер проявляет в индивидуальном общечеловеческое, родовое, он создается как судьба. Его основой является онтологический детерминизм. Романтический характер, по Бахтину, самочинен и инициативен, он средоточие неисчерпаемых индивидуальных возможностей личности. Индивидуальность героя раскрывается не как судьба, а как идея, точнее, как воплощение идеи. Романтический герой рефлексивен, в его обрисовке большое место занимают лирические моменты, он строится на оппозиции идеального и сущего.

В литературе эпохи реализма место романтической двуплановости, полярности заступает синхронность, многоуровневость протекания душевной жизни. Литературой XIX века владеет «пафос объяснения» (Л. Гинзбург), причинной связи, обусловленности, преимущественно социальной². Трансформациями классического и романтического характеров становятся в это время человек – социальный тип («натуральная школа», Гоголь, ранний Достоевский) и человек – «текучая» индивидуальность, определяемая ее непрерывным взаимодействием с исторически меняющимися конкретными обстоятельствами (Пушкин, Толстой). Преиму-

¹ М. Бахтин, *Эстетика словесного творчества*, Москва 1979, с. 152-157.

² Л. Гинзбург, *О психологической прозе*, Ленинград 1977, с. 274.

шественное внимание к изображению саморазвивающегося характера знаменовало принципиально новый этап – эру художественного психологизма в литературе. По мере его развития возрастает и динамика в изображении человека.

Как известно, расцвет психологизма и психологического анализа в русской литературе пришелся на вторую половину XIX века. Блестящее мастерство в воспроизведении процессов формирования мыслей, чувств, намерений человека, пристальный интерес к текучести и противоречивости индивидуального сознания проявили великие психологи Толстой и Достоевский (это убедительно доказали в своих работах М. Бахтин, С. Бочаров, Л. Гинзбург, А. Есин, Р. Назиров, Г. Щенников и др.). Однако уже в классическом XIX веке выделяли психологизм явный, открытый и психологизм неявный, «тайный» (аналитический и синтетический, по определению Л.Я. Гинзбург).

В литературе XX века исследование психологии личности интенсивно заявляет себя в форме «потока сознания», раскрывающей человеческую сущность, неявность, закрытость. Форма «потока сознания» – это попытка не рассказать о внутреннем мире человека, а непосредственно показать его, предъявить, описать. Арсенал средств изображения человека растет: наряду с авторским психологическим повествованием, описанием впечатлений героя от окружающего, развернутыми характеристиками его переживаний, все более широкое распространение получают субъективные композиционные формы, такие как внутренние монологи, письма, дневники, исповедь, мемуары и автобиографии и – еще более углубленные в подсознание – сновидения и галлюцинации.

Модернизм, сформировавшийся на рубеже веков, стремился представить душевную жизнь человека как иррациональный сплав физических ощущений, эмоциональных впечатлений, зрительных и слуховых образов, сознательных и бессознательных влечений. Уже с начала XX века предпринимались попытки избавиться от психологического обобщения, причем отказ от аналитической психологии, от психологической рефлексии провозглашали и модернисты, и создатели новой, советской литературы. Идея антипсихологизма выдвигается в начале века в статьях и книгах А. Белого (*Ибсен и Достоевский, Мастерство Гоголя*). В 20-е годы развернутый психологизм и писателям, и читателям представляется эстетически неактуальным. В ранней советской литературе утверждается волевой герой, рожденный массой, лишенный «лимонада психологии» (Б. Пильняк), человек «без интеллигентских эмоций» (А. Толстой).

Со второй половины XX века учеными, работающими в разных областях гуманитарной науки, прослеживается кризис человеческой индивидуальности, к концу века тенденция деперсонализации личности неуклонно возрастает: контуры личности размываются, ее индивидуальность рассеивается. На смену индивидууму, как считает современная наука и критика (Л. Гинзбург, Л. Аннинский, А. Генис, И. Роднянская), приходит человек-стереотип, «человек-ноумен», «код», «иероглиф», человек «переключаемый», «виртуальный субъект» и т.п. Героем литературы нового рубежа веков становится каждый и никто в особенности. Выхваченный из толпы «обыкновенный человек» перемещается с литературной периферии в центр художественного внимания современных писателей.

В этом смысле весьма продуктивным оказывается диалог русской литературы с философией и эстетикой М. Хайдеггера, экзистенциально постулирующей «се-

рединность» человека: «...бытие с другими как таковое, – говорит он, – озаботилось серединой. Она экзистенциальная черта людей... они держатся фактически того, что подобает... Эта срединность, намечая то, что можно и должно сметь, следит за всяким выбивающимся исключением»³. В обстановке «рассеивания характера» и торжества безиндивидуальности перед литературной наукой остро встает вопрос о том, насколько актуальны сегодня способы и формы психологического исследования человека, разрабатываемые искусством.

В современных литературно-критических работах мы находим немало высказываний, содержащих сомнения в продуктивности традиционных форм психологизма для прозы рубежа XX-XXI веков. Так, О. Лебедушкина, например, квалифицирует анализ психологии человека как «карательный метод» по отношению к жизни: «Понимание, то, что принято называть хорошим знанием психологии, – это и есть пре-ступление. Переход границ, которые священнее врат Аида и вод Стикса, чем выше жажда понять, тем больше одиночество, замкнутость, экзистенциальная заброшенность «понимающего»... Поэтому психология оказывается не более чем синонимом садомазохизма»⁴. Т. Касаткина предьявляет суровый счет психологизму за искажение, своего рода «развоплощение», «деонтологизацию реальности»⁵. Об отчуждении современной прозы от психологической традиции пишут многие исследователи. Так, Л. Аннинский отказывает Маканину в психологической пластике, а В. и С. Пискуновы соотносят антипсихологизм Маканина с позицией Достоевского. Об антипсихологизме Петрушевской пишут А. Барзах, О. Дарк, М. Липовецкий. А. Генис в прозе Пелевина усматривает метаморфозы чистого сознания, а И. Роднянская говорит об авторских манипуляциях с сознанием, заменяющих психологический анализ. Так что же – психологизм умирает в литературе конца XX столетия или продолжается трансформация его форм? И в какое руло устремляется энергия его обновления?

Кризис психологической прозы обусловливается кризисом научного сознания с его пафосом объяснения мира. Свою задачу наука всегда видела в познании и открытии прячущихся за многими видимостями сущностей. Сильнейшим потрясением основ научного знания становится, как известно, кризис в математике, связанный с парадоксами множеств, и кризис в физике, обусловленный созданием теории относительности и квантовой механики. В результате этих ошеломляющих открытий самые точные науки выходят на уровень изучения столь сложных систем, в приложении к которым традиционное понятие причинности теряет смысл. Подобного масштаба потрясения не могли не отразиться и на гуманитарной области знания, поскольку именно человек является «нервным узлом» всех существующих в мире систем.

Во всех сферах культуры – философии, психологии, искусстве и литературе – усложняются представления о человеке. Именно в подходе к проблеме человека философия XX века подвергает критике основные абстракции философского рационализма – прозрачность, однородность, познаваемость, разумность, линейность, поступательность, эволюционность. По пути движения за пределы психо-

³ М. Хайдеггер, *Бытие и время*, Москва 1999, с. 127.

⁴ О. Лебедушкина, *Книга царств и возможностей*, „Дружба народов” 1998, № 4, с. 204.

⁵ Т. Касаткина, *В поисках утраченной реальности*, „Новый мир” 1997, № 3, с. 200-212.

логической трактовки индивидуальности идет феноменология, исследующая данные сознанию духовные «сущности», независимые от социального и чувственного опыта (Э. Гуссерль). Огромное значение для философии и искусства имеют открытия психоанализа, осуществленные З. Фрейдом и К. Юнгом. Наступает пора антирационального, сильного в своем отрицательном пафосе умонастроения. Если до сих пор ответы на сложные вопросы искали у разума, то теперь вектор поиска изменяет направление в сторону досознательного и подсознательного. Так, К.Г. Юнг в *Поздних мыслях*, касаясь проблемы человека XX века, пишет: «Все убеждены в том, что мы очутились на знаменательном повороте времени, но полагают, будто содержанием этого поворота станут расщепление и слияние атома или запуск космической ракеты. Как обычно, просмотрели то, что происходит в человеческой душе»⁶. Отчаянная борьба писателей с социальными обстоятельствами во многом заслоняет собой вопрос о сущности человеческой природы, между тем как зло не ограничивается социальными рамками, широко разливаясь в человеческой душе.

Обстоятельное исследование анатомии человеческой деструктивности, предпринятое в русле психоаналитической социологии, осуществляет и Э. Фромм. Он разрабатывает концепцию, согласно которой «деструктивность и жестокость – это не инстинктивные влечения, а страсти, которые корнями уходят в целостную структуру бытия»⁷. Признание того, что зло в человеке лежит гораздо глубже, чем это казалось ранее, приводит к крушению научного мифа о человеке разумном и кладет начало формированию новой версии гуманизма – постгуманизма, который основывается на отказе от схематизации и идеализации человека, на стремлении создать его современную модель, вбирающую в себя открытия постфрейдизма с его вниманием к сфере «коллективного бессознательного». В сущности, мы видим, речь идет о переоценке человека как феномена антропологического.

Новый взгляд на человека диктует новые подходы к его исследованию. Как справедливо утверждает В. Заманская, неполитизированное, самоценное Я «феноменологического» человека, единичного, неповторимого, «человека как такового», «человека как он есть» становится антитезой социальной и исторической личности и главным объектом исследования художников конца XX века⁸.

Как свидетельствует современная наука, происходящий на рубеже веков процесс вытеснения культуры цивилизацией меняет параметры существования человека в мире. Он «выталкивается» на поверхность жизни, лишаясь возможностей углубленного внутреннего существования. Техногенная коммуникация активно вытесняет и подменяет прямое человеческое общение, углубляя процесс дегуманизации современного мира; создание искусственного интеллекта, равного и даже превосходящего человеческий, появление виртуальных технологий рождает представление о возможности манипулировать природой самого человека. Однако сознание человека не сводится к логическим конструкциям, ибо его сферой является и сфера бессознательного, в которой рождаются сложные и новые

⁶ К. Юнг, *Проблемы души нашего времени*, Москва 1996, с. 279.

⁷ Э. Фромм, *Анатомия человеческой деструктивности*, Минск 1999, с. 102.

⁸ В. Заманская, *Русская литература первой трети XX века: проблема экзистенциального сознания*, Магнитогорск 1996, с. 19.

смыслы. Простая сумма научных знаний о человеке не может составить его адекватный, живой образ.

Не случайно конец XX – начало XXI века оказывается временем бурного развития психологии как науки. Расширение сферы ее наблюдений и обобщений рождает различные направления и школы: социальную, когнитивную, экзистенциальную, архетипическую; активно формируется психология личности и межличностных отношений, психология средств массовой информации и т.д. Открытия этих школ совершенно необходимо учитывать при решении вопроса о судьбах психологизма в художественной литературе. Философская антиномия индивидуального – универсального уже сама по себе является архетипической ситуацией, разыгрывающейся в жизни каждого человека, о чем говорит, например, Д. Хиллман⁹. Архетипическая психология, вскрывающая архаические, закрепленные в инстинктах человека корни страха и депрессии, помогает литературоведам понять причины актуализации устойчивых моделей человеческого состояния и поведения, а значит, углубиться в проблему архетипов, активизации мифопоэтической техники в индивидуальном художественном творчестве. Отражая и моделируя сложный мир человеческого «я», новейшая литература перекликается в своих подходах к нему и с представлениями экзистенциальной психологии. Отдельные приемы феноменологического анализа находят убедительные соответствия в практике многих современных писателей, в частности, в творчестве В. Маканина и Л. Петрушевской. Мы имеем в виду замену каузальности мотивацией, объяснения – экспликацией, доказательства – предъяснением множества модусов «бытия-в-мире» и т.д.

Подчеркнем и то, что современная психологическая наука показывает, как психическая деятельность человека, кажущаяся целесообразной и мотивированной, в процессе своего движения размывается и теряет отчетливость и целенаправленность. Она неизбежно обнаруживает несоответствия между тем, к чему стремишься, и тем, чего достигаешь, демонстрируя непредсказуемость последствий человеческой деятельности. Причем речь идет не только о неблагоприятных ее результатах, но и о тех итогах, что оказываются богаче предполагаемой цели. В психике личности всегда заложены, вроде бы избыточные (с прагматической точки зрения) возможности, которые, однако, тоже требуют воплощения и реализации. Они не укладываются в принятую наукой систему мотивов (гомеостатических, гедонистических, прагматических, альтруистических, подсознательных), обнаруживаются немотивированные поступки, напрасные слова, вроде бы ненужные действия, которые, по мысли В. Петровского, в случае их успеха становятся мощным стимулом «надситуативной» активности, а спрятанные вглубь, – они превращаются в энергию саморазрушения¹⁰. Человеческая личность таит в себе непредугадываемое и непознанное, сложное соединение противоречивых состояний и возможностей. Подобные психологические феномены исследует, по преимуществу, новейшая проза.

Существует и еще одна область, которая занимает внимание сегодняшних писателей и психологов, вырастая в проблему общения, межличностной коммуни-

⁹ Дж. Хиллман, *Архетипическая психология*, Санкт-Петербург 1996, с. 32.

¹⁰ В. Петровский, *Личность в психологии*, Ростов-на-Дону 1996, с. 503.

кации и воплощенности «Я» в «Другом». Психологическая наука последних десятилетий полагает, что за стремлением человека воплотиться в «других» стоит древнее, изначальное людское стремление к бессмертию, что сама «потребность в бессмертии как продолженности... присутствует всегда и во всех нас» (В. Петровский). Без жизни в «иных» человеческих мирах нет личности, хотя полноценное общение отнюдь не безоблачно, оно обязательно предполагает несовпадение между словом и его отзвуком, ибо контакты с миром в той или иной степени всегда конфликтны, и все же – самое существенное в личности всегда «выносится за скобки ее внутреннего мира» (там же). Как пишет Б. Пастернак, «Жизнь ведь тоже только миг, / Только растворение / Нас самих во всех других, / Как бы им в дарение»...

В постижении загадки человека искусству принадлежит особая роль. Именно об этом говорит В. Лосский: «Человеческая личность не может быть выражена понятиями. Она ускользает от всякого рационального определения и даже не поддается описанию, так как все свойства, которыми мы пытались бы ее охарактеризовать, можно найти и у других индивидов. “Личное” может восприниматься в жизни только непосредственно интуицией или же передаваться каким-нибудь произведением искусства»¹¹. Действительно, сознание и самоощущение человека конца XX века формулируется философией, анализируется и объясняется психологией, но открывается в полной мере именно в художественном творчестве. Картиной, ситуацией, житейскими подробностями художник «схватывает» и угадывает больше (глубже), чем аналитическим словом. Индивидуальная стиливая форма обнаруживает, открывает не только то, что хотел сказать автор, но и то, что сказалось помимо его желания. Она (форма) доносит до читателя то невыразимое, нерасчленимое, субстанциальное в личности художника, что делает редкостным и, одновременно, узнаваемым авторское представление о времени, человеке и его психологии.

Наряду с усложнением представлений о человеке, трансформации психологизма в XX веке мы связываем и с изменением статуса автора произведения. В этой связи обратимся еще раз к цитируемой работе Бахтина, где обозначены несколько направлений, по которым может пойти кризис авторства. Во-первых, это «пересмотр самого места искусства в целом культуры, в событии бытия...»¹². Русская литература середины 1980-х годов пережила сильнейшие потрясения, решительно изменившие ее общественный статус: разгосударствление, деидеологизация, разрушение советского культурного пространства, коммерциализация журнального и издательского дела и т.п. Другое направление кризиса, по Бахтину, – это расшатывание «позиции вменяемости», оспаривание права автора «быть вне жизни завершать ее», когда развивается глубокое недоверие ко всякой вменяемости. И наконец, кризис авторства, проявляется в ослаблении интереса к «чистой феноменальности, чистой наглядности жизни», когда вменяемость становится «болезненно-этической», теряя спокойствие и незыблемость, или, напротив, «эстетическая вменяемость» обращает бытие в «чистую феноменальность», и тогда эстетизм покрывает пустоту, герой потерян, игра (у Бахтина – «безответст-

¹¹ В. Лосский, *Опыт мистического богословия Восточной церкви. Догматическое богословие*, Москва 1991, с. 44.

¹² М. Бахтин, *Эстетика словесного творчества*, Москва 1979, с. 176-179.

венная») ведется чисто эстетическими элементами. В русской прозе конца XX века налицо чуть не весь спектр кризисных характеристик, но было бы ошибкой сводить все к экстралитературным причинам.

Во второй половине XX века эстетическая наука заявила о «смерти автора». Однако несколько позже сам Р. Барт внес коррективы в свой тезис. В *Лекциях* он заявляет о появлении (выходе) «нового типа пишущего индивида», лишенного возможности «щеголять литературным мастерством»¹³. Отечественные литературоведы справедливо полагают, что правомернее вести речь не об исчезновении автора как такового, а об изменении качества авторского сознания, о том, что разрушается прерогатива монологического автора на владение высшей истиной и авторская истина релятивизируется, растворяясь в многоуровневом диалоге точек зрения¹⁴.

Это означает, что в рамках одного текста имеют место чередующиеся точки зрения и кругозоры разных персонажей и оценка нарратора отнюдь не превалирует, оставляя возможность вариативного толкования характера. Так, в героине повести В. Маканина *Один и одна* сослуживцы видят стареющую мымру, начальство – ядовитую женщину, а в восприятии повествователя ее воинственность оборачивается хрупкостью и беззащитностью. Несовпадение контуров отражений в зеркалах разных мнений рождает мысль об уникальности индивидуального бытия, даже «не мысль – лишь ощущение общечеловеческой тайны, которую и не надо разгадывать до конца»²¹. Аналогично в герое повести Л. Петрушевской *Смотровая площадка* окружающие видят победителя, завоевателя, покорителя женщин, начальник – единственную надежду науки, сослуживцы – кто странного человека, а кто подлеца и соблазнителя; повествователь при этом занимает позицию наблюдателя.

В задачи автора не входит использование внутренней точки зрения по отношению к персонажу, для передачи его переживания глаголы внутреннего состояния сопровождаются вводными словами: *казалось, возможно, может быть, видимо*, именуемыми Б. Успенским «*словами остранения*»²². Например: «Что-то его потрясло, может быть, собственная доброта. Он долго чувствовал легкость и умиление» (*Случай богородицы*), «Возможно, что в душе у Ани происходили какие-то катаклизмы, свои бури, возможно, что душа ее не дремала» (*Стена*). Нарративная маска служит созданию смысловой вариативности, реализуя свою потенциальную семантическую энергию. Точка зрения повествователя представляется одной из многих, отличной от них разве что принципиальной невключенностью в антитетический ряд, свободной от однозначности и тенденциозности, амбивалентностью.

В ситуации антропологического кризиса и, следовательно, кризиса литературного характера, современная проза неустанно ищет новые формы и способы изображения человека. Психологизм выражается разнообразными композиционными, хронотопическими и символическо-мифологическими средствами. Скажем, у В. Маканина это обнаружение человека *живого* через ситуацию *конфуза*, через предьявление экзистенциального кризиса, разрыва связи времен, кризиса само-

¹³ Р. Барт, *Избранные работы*, Москва 1989, с. 565.

¹⁴ М. Липовецкий, *Русский постмодернизм: Очерки исторической поэтики*, Екатеринбург 1997, с. 13.

идентификации и попытки его преодоления через прозрение и интуицию (*голо-са*). У Л. Петрушевской это проецирование бытовых ситуаций на архетипы, пристальное внимание к «нижним слоям» психики, закрытым для сознания, это антитеза явного и тайного, откровенного и сокровенного. У. Пелевина это демонстрация метаморфоз чистого сознания, освобожденного от телесной оболочки, творящего разнообразные, но в равной степени иллюзорные миры.

Писатели стремятся преодолеть инерцию сложившихся форм, уйти от заранее заданного, завершенного, объясненного словом. Но не воплощенный в риторических фигурах анализ душевной жизни человека отнюдь не означает его отсутствия, также как антипсихологизм не означает снятие, отмену психологизма, напротив, являет нам иную, другую его форму. Психологизм в прежнем классическом выражении замещается новыми формами. В отличие от аналитического, каузального, объясняющего, новейший психологизм носит латентный, нерасчлененный, синкретический характер. В отсутствие развернутого авторского психологического дискурса и «диалектики души» первостепенное значение приобретают внесубъектные формы выражения авторского сознания, активизируется психологическая роль таких структурных элементов произведения, как характер повествования, ритм, интонация, пространство, время, композиция, сюжет и т.д.

Summary

Regarding psychologism in Russian prose XX century

The article demonstrates how in the surroundings of global anthropological crisis prose is seeking new forms and methods of showing a human. New psychologism took place of the classic, the former has a latent, synergetic character. Contemporary prose shows a human as an unknown being and a mystery of his soul and consciousness as undiscovered.

Key words: *psychologism, psychological analysis, contemporary prose, ways of showing a human, dialogue of view points*